Ганс Христиан Андерсен

О чем рассказывала старуха Иоганна

Ветер шумит в ветвях старой ивы.
Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Иоганну из богадельни; она все знает, она ведь родилась тут, в окрестности.
Много лет тому назад, когда мимо ивы еще проходила большая столбовая дорога, ива была уже большим могучим деревом. Стояла она, где и теперь стоит, близ пруда, перед выбеленным домиком портного. Пруд этот в те времена был так велик, что к нему пригоняли на водопой скотину, а в теплые летние дни в нем полоскались голые деревенские ребятишки. Под самым деревом стоял тогда большой камень, изображавший верстовой столб; теперь он свалился и оброс побегами ежевики.
Новую большую дорогу провели по ту сторону богатой крестьянской усадьбы, а старая стала проселочной, пруд же превратился в подернутую зеленой плесенью лужу. Бухнется в нее лягушка — зелень разойдется, и покажется грязная, черная вода. По краям ее росли и растут осока, тростник и желтые лилии.
Домишко портного покосился от старости; крыша превратилась в рассадник мха и дикого чеснока. Голубятня обветшала, и в ней свил себе гнездо скворец, под крышей же налепили себе гнезд ласточки, словно домик был приютом счастья.
Когда-то оно так и было; теперь же в нем тишина и запустение. Живет в нем, или, вернее, прозябает, дурачок Расмус, как его прозвали. Он родился в этом доме, играл тут ребенком, прыгал по полю и через изгородь, полоскался в пруде и карабкался на старую иву.
Она и теперь еще подымает к небу свои роскошные, красивые, большие ветви, как и тогда. Но буря слегка погнула ее ствол, время проделало в нем трещину, ветер занес в нее землю, и из нее сами собою выросли трава, зелень и даже маленькая рябинка.
Ласточки возвращаются сюда каждую весну, начинают летать вокруг дерева и над крышей и чинить свои старые гнезда; Расмус же махнул рукой на свое гнездо, никогда не чинил его. «К чему? Что толку?» — вот какая была у него поговорка, унаследованная от отца.
И он оставался в своем гнезде, а ласточки улетали, но на следующую весну возвращались опять — верные птички! Скворец посвистывал, улетал, опять возвращался и опять насвистывал свою песенку. Когда-то и Расмус свистал с ним взапуски; теперь он и свистать и петь разучился.
Ветер шумел в ветвях старой ивы, шумит и посейчас; сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старуху Иоганну из богадельни; она все знает, может порассказать о том, что было здесь в старину, она — живая хроника.
Дом был еще нов и крепок, когда в него перебрались на житье деревенский портной Ивар Эльсе с женой Марен, люди честные, работящие. Старуха Иоганна была в то время еще девчонкой; отец ее, выделывавший деревянные башмаки, считался чуть ли не последним бедняком в околотке. Много перепало девочке славных кусков хлеба с маслом от доброй Марен — у этой-то не было недостатка в провизии. Она пользовалась большой благосклонностью помещицы, вечно смеялась, вечно была весела, никогда не вешала носа, болтала без умолку, но, работая языком, не покладала и рук. Иголка в ее руках двигалась так же быстро, как язычок во рту; кроме того, она смотрела и за хозяйством, и за детьми, а их была без малого дюжина — целых одиннадцать; двенадцатый так и не явился.
— У бедняков вечно полно гнездо птенцов! — ворчал помещик. — Топить бы их, как котят, оставляя лишь одного или парочку из тех, что покрепче, так беды-то было бы меньше!
— Спаси Боже! — говорила жена портного. — Дети — благословение Божие, радость в доме! За каждого лишнего ребенка прочтешь лишний раз «Отче наш» — вот и все! А если туго приходится и трудно кормить столько ртов, так стоит приналечь маленько на работу — и выйдешь из беды

честь честью! Господь не забудет нас, коли мы Его не забываем!
Помещица одобряла Марен, ласково кивала ей головой и часто трепала ее по щеке. А было время, что она даже целовала Марен, но это тогда еще, когда сама была маленькой девочкой, а Марен — ее нянькой. Обе очень любили друг друга, и добрые отношения между ними не порывались.
Каждый год, к Рождеству, в доме портного появлялся запас провизии на зиму: бочка муки, свиная туша, два гуся, бочонок масла, сыр и яблоки. Все это шло с помещичьего двора и помогало пополнить кладовую. Ивар Эльсе глядел тогда веселее, но скоро опять затягивал свой вечный припев: «Что толку?»
В домике портного было чисто, уютно: на окнах занавески, на подоконниках цветы — гвоздики да бальзамины. На стене, в рамке, висела азбука, вышитая Марен, а рядом стихотворение, тоже ее собственной работы; она умела подбирать рифмы и почти гордилась тем, что ее фамилия Эльсе (Olse) являлась единственным словом, рифмовавшим со словом Polse (колбаса).
— Все-таки преимущество перед другими! — говаривала она, смеясь. Она всегда была в духе, никогда не говорила, как муж: «Что толку!»
У нее была своя поговорка: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Так она и делала, и весь дом держался на ней. Детишки росли здоровыми, подрастали, покидали родное гнездо, становились сами на ноги и вели себя хорошо. Самый меньший из них, Расмус, ребенком был просто красавчик, так что один из лучших живописцев в городе даже взял его раз моделью, но нарисовал совсем голеньким, как мать родила! Картинка эта висела теперь в королевском дворце; помещица видела ее и сейчас признала маленького Расмуса, даром что он был без платья.
Но вот настало тяжелое время. Портной схватил ревматизм в обеих руках; руки распухли; ни один доктор не мог ничего поделать, даже сама знахарка Стина.
—Не надо вешать носа! — сказала Марен. — В этом толку мало! Теперь у нас парой здоровых рук меньше, так задам побольше дела моим! Да и Расмус умеет держать иглу в руках!
Он уже и в самом деле сидел на столе, насвистывал и шил — веселый он был мальчик!
Но целыми днями ему не след было сидеть за работой, говорила мать, грешно так мучить ребенка; надо было дать ему и побегать, и порезвиться!
Первой подругой Расмуса была Иоганна; она была еще из более бедной семьи, чем Расмус, красотой не отличалась, ходила босиком и в лохмотьях — некому было о ней заботиться, самой же зашить свои дыры ей в голову не приходило. Она была еще ребенок и весела, как птичка, порхающая на солнышке.
Чаще всего играли дети под большой ивой у каменного столба.
Расмус задавался великими замыслами: он мечтал сделаться важным портным и поселиться в городе, где живут такие мастера, что держат по десяти подмастерьев, — это он слышал от своего отца. Вот к такому-то мастеру Расмус и поступит в подмастерья, а потом сам станет мастером. Тогда Иоганна непременно должна прийти к нему в гости, а если к тому времени выучится стряпать, то может остаться у них и навсегда — готовить им кушанье, и тогда ей отведут свою комнату.
Иоганна не совсем-то этому верила, но Расмус был вполне уверен, что все оно так и сбудется.
Так они сидели вместе под старым деревом, а ветер шумел в ветвях, словно пел песню, ива же пересказывала ее.
Осенью все листья опали; с голых ветвей закапал дождь.
— Они снова зазеленеют на будущий год! — говорила матушка Эльсе.
— Что толку? — ответил муж. — Новый год — новые печали, новые заботы о куске хлеба!
— Кладовая наша полна! — возражала жена. — Спасибо доброй барыне! Я здорова, сил мне не занимать — грех нам и жаловаться!

Рождество семья помещика проводила в имении, но через неделю после Нового года перебиралась обыкновенно в город, где весело проводила зиму, посещая разные балы и собрания и бывая даже при дворе.
Госпожа выписала себе из Парижа два дорогих платья, из такой материи, такого покроя и такой работы, что Марен сроду не видывала ничего великолепнее. Она и выпросила у госпожи позволение прийти в замок еще раз вместе с мужем, чтобы и он мог полюбоваться на платья.
— Ничего такого ни одному деревенскому портному ведь и во сне не снилось! — сказала она.
И вот он увидел платья, но не сказал ни слова, пока не вернулся к себе домой, да и тут сказал лишь то, что говорил всегда: «Что толку?» И на этот раз слова его оказались вещими.
Господа переехали в город, начались балы и праздники, но тут-то как раз старый помещик и умер. Не пришлось молодой госпоже и пощеголять в своих великолепных платьях! Она была очень огорчена, оделась с ног до головы в траур, не позволяла себе надеть даже белого воротничка. Все слуги тоже были одеты в траур, а парадную карету обили тонким черным сукном.
Была ясная морозная ночь; звезды сияли на небе, снег так и сверкал, когда к воротам усадебной церкви подъехала колесница с телом помещика: его привезли сюда из города, чтобы схоронить в фамильном склепе. Управляющий поместьем и деревенский староста, оба верхом, с факелами в руках, встретили гроб у калитки кладбища. Церковь была освещена, священник встретил гроб в дверях. Затем гроб внесли на возвышение перед алтарем, священник сказал приличное случаю слово, а присутствующие пропели псалом. Сама госпожа тоже находилась в церкви; она приехала в парадной траурной карете, обитой черным сукном и внутри, и снаружи; ничего такого деревенские жители сроду не видывали.
Всю зиму толковали они о печальной, но пышной церемонии. Да, вот это так были господские похороны!
—Сейчас видно, какой человек умер! — говорили они. — Родился он знатным барином и схоронили его как знатного барина!
— Что толку? — сказал опять портной. — Теперь у него ни жизни, ни имения! У нас хоть жизнь-то осталась!
— Да не говори же таких слов! — прервала его жена. — Он ведь обрел вечную жизнь в царствии небесном!
— А кто тебе это сказал? — возразил муж. — Мертвое тело — хорошее удобрение для земли и только! А этот господин даже и удобрением-то послужить не может — он слишком знатен для этого, будет себе гнить в склепе!
— Да оставь ты свои безбожные речи! — вскричала жена. — Говорю тебе: он обрел вечную жизнь!
— А кто тебе сказал это, Марен? — повторил портной.
Но Марен набросила передник на голову маленького Расмуса — ему не след было слушать такие речи; увела его в сарай и там принялась плакать.
— Это говорил, Расмус, не отец твой, а злой дух! Он забрался в дом и овладел языком твоего отца! Прочти «Отче наш»! Прочтем вместе! — И она сложила ручки ребенка. — Ну, теперь у меня отлегло от сердца! — сказала она. — Надейся на Бога и сам не плошай!
Год скорби подходил к концу, вдова ходила уже в полутрауре, а в сердце ее печаль давно сменилась полной радостью.
Поговаривали, что к ней присватался жених, и она уже подумывает о свадьбе. Марен знала об этом кое-что, а священник и того больше.
В Вербное воскресенье, после проповеди, он должен был огласить предстоящее бракосочетание вдовы. Жених ее был какой-то не то каменотес, не то ваятель, толковали в народе. Как называть его — никто хорошенько не знал; в те времена Торвальдсен и его искусство еще не были знакомы

народу.
Новый помещик был не из знатного рода, но вид у него был очень важный, и занимался он чем-то таким, о чем никто не имел настоящего понятия; знали только, что он имеет дело с глиной да с камнем, что он большой мастер своего дела, и к тому же молод и красив.
— Что толку? — говорил, однако, Ивар Эльсе.
И вот в Вербное воскресенье, после проповеди, состоялось оглашение; затем пропели псалмы и приступили к причащению. Портной, Марен и Расмус были в церкви; родители подошли к причастию, мальчик остался сидеть на своем месте — он еще не был конфирмован.
В последнее время в доме портного ощущался сильный недостаток в одежде: старые платья все износились, их уж вывертывали, перешивали и чинили не раз. В этот же день все трое, и муж, и жена, и сын, были в новых платьях, но из черной траурной материи, словно собирались на похороны, — на платья им пошла траурная обивка кареты. Мужу вышел из нее сюртук и брюки, жене платье и Расмусу полный костюм, да еще на рост, чтобы платье пригодилось и к конфирмации. На все это, как сказано, пошла и внутренняя и наружная обивка траурной кареты. Никому, собственно, не было нужды добираться до первоначального употребления материи, но люди все-таки живо добрались, и знахарка, умная баба Стина, да еще несколько таких же умниц, которые, однако, не промышляли своим умом, объявили, что эти платья накличут на головы семьи несчастье: «Нельзя одеваться в обивку траурной кареты — сам отправишься на кладбище!»
Иоганна заплакала, услыхав такие речи, и так как случилось, что с того самого дня портному стало хуже, то скоро должно было выясниться, на чью именно голову падет несчастье.
Наконец, оно и выяснилось.
В первое же воскресенье после Троицы портной Эльсе умер. Теперь Марен осталась одна — как знаешь, так и справляйся! Она и справлялась: надеялась на Бога и сама не плошала!
Через год Расмус конфирмовался. Пришла пора отдать его в город в ученье к настоящему портному, хоть и не к такому, который держал двенадцать подмастерьев. Этот держал только одного, мальчика же Расмуса можно было считать разве за полподмастерья. Расмус был весел, рад тому, что отправляется в город, но Иоганна плакала: она любила его больше, чем сама подозревала. Мать Расмуса осталась в доме одна и продолжала заниматься своим ремеслом.
В это-то время и была открыта новая проезжая дорога, старая же, что шла мимо ивы и дома портного, стала проселочной; пруд зарос, превратился в подернутую зеленой плесенью лужу; верстовой столб свалился — ему незачем было больше стоять, — но дерево стояло по-прежнему, все такое же крепкое и красивое, и ветер по-прежнему шумел в его ветвях.
Ласточки улетели, улетел и скворец, но весной все они вернулись опять, потом опять улетели и опять прилетели, когда же вернулись в четвертый раз, вернулся домой и Расмус. Он стал подмастерьем и выровнялся в красивого, но худощавого и слабого здоровьем парня. Он хотел было не медля вскинуть котомку на плечи и пуститься в чужие страны, куда его давно тянуло, но мать стала его удерживать: дома, дескать, лучше! Все дети ее разлетелись из гнезда, он был младшим, дом должен был достаться ему; работы же он и здесь мог достать вдоволь: пусть только сделается странствующим портным, переходит из дома в дом по всей окрестности, работая недели по две то тут, то там, — чем не путешествие? Расмус сдался.
И вот он опять спал под родной кровлей, опять сидел под старой ивой и прислушивался к шуму ветвей.
Он был красив, свистал как птица, умел петь и новые и старинные песни и скоро стал желанным гостем во многих богатых крестьянских домах, особенно же в доме Клауса Гансена, чуть ли не первого богача в окрестности.
Дочка его, Эльза, цвела как роза; улыбка не сходила с ее уст, и находились-таки злые люди,

поговаривавшие, что она смеется только для того, чтобы показывать свои хорошенькие зубки. Что ж, такая уж она была хохотунья, вечно готова дурачиться, шутить! К ней все шло.
Она полюбила Расмуса, а он полюбил ее, но ни он, ни она не обмолвились о том друг другу ни словом.
И вот он стал задумываться и грустить; в его характере было больше отцовского, нежели материнского. Весел он был только в присутствии Эльзы; тогда они оба смеялись и шалили напропалую, но хотя и не раз при этом представлялся удобный случай, Расмус так и не признался Эльзе в своей любви. «Что толку? — думал он. — Родители ищут ей богатого жениха, а у меня ничего нет. Так лучше бежать от нее!» Но на это у него не хватало сил: Эльза как будто держала его на привязи и могла заставить его петь и свистеть, словно ручную птицу.
Иоганна служила у Клауса Гансена в работницах; на ней лежала разная черная работа по дому: она возила на поле молочную бочку и доила там вместе с другими работницами коров, возила туда и навоз, когда надо было. Она не бывала в хозяйских горницах и не часто видела Расмуса или Эльзу, но слышала от других, что они чуть ли не жених и невеста.
«Расмус идет в гору! — думала она. — И дай ему Бог!» Но глаза ее при этом наполнялись слезами, хотя, казалось бы, о чем тут плакать?
В городе была ярмарка; Клаус Гансен отправился туда с дочерью, а с ними и Расмус. Он сидел рядом с Эльзой всю дорогу и туда и обратно. Сердце его было переполнено любовью, но он не сказал о том Эльзе ни слова.
«Должен же он, однако, объясниться со мною! — думала девушка вполне резонно. — А не заговорит сам, так я расшевелю его!»
И скоро в доме стали поговаривать, что за Эльзу сватается богатейший крестьянин в окрестности. Так оно и было, но никто не знал, что ответила ему Эльза.
У Расмуса и голова кругом пошла.
Однажды вечером Эльза надела на пальчик золотое кольцо и спросила у Расмуса, что оно означает.
— Обручение! — ответил тот.
— А с кем, по-твоему? — спросила она.
— С тем богачом, что сватался за тебя!
— Угадал! — сказала она, кивнула головкой и скрылась. Скрылся и он, пришел домой к матери совсем вне себя и сейчас же
принялся завязывать свою котомку: «В путь-дорогу! Куда глаза глядят!» Не помогли и слезы матери.
Он вырезал себе палку из ветви старой ивы и так насвистывал при этом, словно у него невесть как весело было на душе, — чего-чего ведь ни насмотрится он теперь на белом свете!
— Для меня-то это большое горе! — сказала мать. — Но для тебя, конечно, самое лучшее уехать, так и мне надо примириться с этим. Но надейся на Бога, да не плошай и сам, и — я увижу тебя опять молодцом!
Он пошел по новой дороге и увидал издали Иоганну, которая везла на поле навоз. Она еще не успела заметить его, а ему и не хотелось этого, и он присел за изгородью у канавы. Иоганна проехала мимо.
Расмус отправился бродить по белу свету, но где бродил — никому не было известно. Мать, впрочем, надеялась, что не пройдет и года, как он вернется домой. «Теперь ведь он увидит столько нового, будет ему чем поразвлечься, ну, он мало-помалу и войдет в старую колею. Да, в его характере больно много отцовского, лучше бы он был в меня, бедное дитятко! Но он все-таки вернется домой — не может же он бросить и меня, и дом!»
И мать собиралась ждать год; Эльза прождала только месяц, а потом отправилась тайком к

знахарке Стине; та и полечивала, и на картах и на кофейной гуще ворожила.
Она, конечно, сейчас же узнала, где находился Расмус, — только в кофейную гущу поглядела. Он находился в чужом городе, но названия его она не могла прочесть. В городе том было много солдат и красивых девушек, и он собирался или стать под ружье, или жениться на одной из девушек.
Тут Эльза не выдержала и заявила, что отдала бы всю свою копилку с деньгами, только бы вернуть Расмуса, но... никто не должен был знать об этом!
И старуха обещала вернуть Расмуса: она знала одно средство, правда, очень опасное, так что прибегать к нему следовало только в крайних случаях. Надо было заварить кашу и поставить ее на огонь: каша будет кипеть, и Расмусу — где бы он ни был — придется вернуться, вернуться туда, где кипит каша и ждет его возлюбленная. Пройдут, может быть, месяцы, прежде чем он вернется, но вернуться он должен, если только жив. Он будет спешить домой без оглядки, без отдыха, день и ночь, через моря и горы, во всякую погоду, несмотря ни на какую усталость. Его будет неудержимо тянуть домой, и он вернется домой!
Была первая четверть луны, а это-то как раз, по словам Стины, и требовалось для ворожбы. Погода стояла бурная, старая ива так и трещала. Стина отломила от нее веточку, связала ее узлом — узел этот должен был притянуть Расмуса — и бросила ее в горшок. Затем знахарка набрала с крыши дома мха и дикого чеснока, положила в горшок и их, поставила горшок на огонь и велела Эльзе вырвать листок из молитвенника. Та случайно вырвала листок с опечатками. «Все едино!» — сказала Стина и бросила его в кашу.
И много еще всякой всячины пришлось бросить в кашу, которая должна была кипеть, не переставая, пока Расмус не вернется домой. Черному петуху старой Стины пришлось расстаться со своим красным гребешком, а Эльзе со своим толстым золотым кольцом. И оно пошло в кашу; Эльза так никогда и не получила его обратно; впрочем, Стина заранее предупредила ее об этом.
Страсть какая была умная эта Стина! Да, и не перечесть всех вещей, какие попали в кашу, которая не сходила с огня, или с горячих угольев, или с теплой золы. Знали же о том только Стина да Эльза.
Месяц нарождался и убывал, а Эльза все наведывалась к Стине с тем же вопросом: «Что, все еще не видать его?»
— Много знаю я! — отвечала Стина. — Много вижу, но сколько еще остается ему идти — не вижу. Впрочем, он уже перешел первые горы! Теперь он в море и терпит непогоду! Но долго еще идти ему через дремучие леса! Ноги его покрылись волдырями, тело его треплет лихорадка, а он все должен идти, идти без конца, без отдыха!
— Ах, нет, нет! — сказала Эльза. — Мне жалко его!
— Ну, уж теперь его нельзя остановить! А остановим — он упадет мертвым на дороге!
Прошел год. Стояло полнолуние; ветер шумел в ветвях ивы; на небе, при свете месяца, показалась радуга.
— Вот это хороший знак! — сказала Стина. — Значит, Расмус скоро придет!
Но он не приходил.
— Да, коли ждешь, время тянется ой-ой как долго! — говорила Стина.
— Ну, а мне надоело ждать! — сказала Эльза, стала заходить к Стине все реже и реже и перестала приносить ей новые подарки.
На душе у Эльзы становилось все легче, и вот в одно прекрасное утро все узнали, что Эльза согласилась выйти за богача-крестьянина.
Она отправилась взглянуть на его двор и земли, на скот и прочее добро; все оказалось в добром порядке, и свадьбы незачем было больше откладывать.
Отпраздновали ее на славу; пирование шло целых три дня. Плясали под звуки скрипок и

кларнетов. Никто из окрестных жителей не был обойден приглашением; была на свадьбе и матушка Эльсе, и когда веселье кончилось, дружки поблагодарили гостей за честь, а музыканты сыграли последний туш, она пошла домой с полной корзинкой остатков от свадебного угощения. Дверь дома она приперла снаружи, продев в колечки щепку, но, подходя к дому, она заметила, что щепка выдернута и дверь стоит настежь. В горнице сидел Расмус! Он вернулся домой, вернулся в этот самый час. Но, Боже, на нем не было лица! Как он пожелтел, похудел — одни кости да кожа!
— Расмус! — вскричала мать. — Тебя ли я вижу! Жалость берет, глядя на тебя! Но как же я рада, что ты вернулся!
И она угостила его вкусными кушаньями, которые принесла с пира: куском жаркого и свадебным пирожным.
А он сказал, что часто вспоминал в последнее время мать, свой дом и старую иву. Диво просто, как часто снилось ему это дерево и босоногая Иоганна!
Об Эльзе он и не упомянул. Он был болен и слег в постель; мы-то не подумаем, что в болезни его и возвращении была виновата каша Стины, это думали только сама Стина да Эльза, но и они молчали о том.
У Расмуса сделалась горячка; болезнь была заразительна, и никто не заглядывал в домик портного, кроме Иоганны. Она горько плакала, глядя на больного.
Доктор прописывал ему лекарства, но он не хотел их принимать.
— Что толку! — говорил он.
— Как что? Поправишься! — уговаривала его мать. — Надейся на Бога, да и сам не плошай! Я бы жизнь отдала, только бы мне увидеть тебя опять здоровым и веселым, услышать твой свист и пение!
И Расмус избавился от болезни, но зато передал ее матери, и Господь отозвал к себе ее, а не его. Пусто стало в доме, хозяйство пришло в упадок.
— Плох он! — говорили про него соседи. — Совсем дурачком стал! Бурную жизнь вел он во время своих странствований, вот что высосало
из него жизненные соки, а не каша! Волосы его поредели и поседели; к настоящему труду он был уже не годен. «Да и что толку?» — говорил он и охотнее заглядывал в кабачок, чем в церковь.
Однажды ненастным осенним вечером он с трудом тащился по дурной дороге из кабачка к себе домой; матери его давно не было в живых; ласточки и скворец улетели; все покинули его, кроме Иоганны. Она догнала его и пошла с ним рядом.
— Возьми себя в руки, Расмус! — сказала она.
— Что толку! — возразил он.
— Дурная у тебя поговорка! — продолжала она. — Вспомни-ка лучше поговорку матери: «Надейся на Бога и сам не плошай!» Ты вот этого не делаешь, Расмус, а надо! Никогда не говори: «что толку?» Этим ты подрываешь в корне всякое дело!
Она проводила его до дверей дома и ушла, но он не вошел в дом, а присел под старой ивой на повалившийся верстовой столб.
Ветер шумел в ветвях дерева; слышалась не то песня, не то речь, и Расмус отвечал на нее, но никто не слышал его, кроме дерева да шумящего в ветвях ветра.
— Брр! Как холодно! Верно, пора в постель! Уснуть, уснуть!
И он пошел, да не домой, а к пруду, там споткнулся и упал. Дождь так и лил, ветер обдавал его холодом, но он ничего не чувствовал. Встало солнышко, к пруду стали слетаться вороны, и Расмус очнулся, но тело его почти закоченело. Упади он туда, где теперь лежали его ноги, головою, ему бы не встать вовеки — болотная плесень стала бы его саваном!
Днем в дом портного зашла Иоганна; не будь ее, плохо бы пришлось Расмусу; она свезла его в

больницу.
— Мы знаем друг друга с детских лет! — сказала она. — Мать твоя поила и кормила меня; никогда мне не воздать ей за это! Но я надеюсь, что ты выздоровеешь и опять станешь человеком!
И Господу Богу угодно было поднять его на ноги. Но в здоровье его и телесном и духовном пошли с тех пор скачки — то лучше, то хуже.
Ласточки и скворец по-прежнему улетали и прилетали; Расмус состарился преждевременно. Одиноким бобылем жил он в своем доме, который ветшал все больше и больше. Совсем обнищал Расмус, стал беднее Иоганны.
— Веры у тебя нет! — говорила она. — А коли у нас нет веры в Бога, так что же у нас есть? Следовало бы тебе сходить к причастию! Ты ведь не причащался с самой конфирмации.
— Что в этом толку? — ответил он.
— Ну, коли ты так рассуждаешь, так лучше и не ходи! Невольных гостей Господь не хочет видеть за своим столом. Но вспомни же свою мать, свое детство! Ты был тогда добрым, набожным мальчиком. Хочешь, я прочту тебе псалом?
— Что толку? — молвил он.
— Меня псалмы всегда утешают! — сказала она.
— Иоганна, ты стала святошей! — И он посмотрел на нее усталым, тусклым взглядом.
А Иоганна прочла псалом — не по книге, у нее не было ее, а наизусть.
— Прекрасные слова! — сказал он. — Но я не могу хорошенько вникнуть в них. Голова у меня такая тяжелая.
Расмус стал стариком, но и Эльза была уже не молода. Упомянем о ней к слову, Расмус же никогда не упоминал о ней. Она была уже бабушкой. Резвая маленькая внучка ее играла раз с другими деревенскими детьми, а Расмус проходил мимо, опираясь на палку. Увидав детей, он остановился и с улыбкой стал смотреть на их игру — в памяти его воскресло былое. Но внучка Эльзы указала на него пальчиком и закричала: «Дурачок Расмус!» Другие девочки подхватили: «Дурачок Расмус!» — и пустились преследовать старика.
Тяжелый то был, пасмурный день; за ним потянулись такие же, но в конце концов ненастье всегда сменяется солнышком.
Утро в день Троицы выдалось чудесное; церковь вся была убрана зелеными березками; пахло, точно в лесу; солнышко играло на церковных стульях; большие свечи у алтаря так и сияли. Приступили к причащению; Иоганна была в числе причастниц, но Расмуса не было. Как раз в это утро Господь отозвал его к Себе.
А у Бога всякий найдет и милосердие, и сострадание.
Прошло много лет; дом портного все еще стоит, все еще держится, но в нем уже никто не живет — он, пожалуй, упадет в первую же бурю. Пруд весь зарос тростником и трилистником.
Ветер шумит в ветвях старого дерева. Сдается, что внемлешь песне; поет ее ветер, пересказывает дерево. А не понимаешь их, спроси старую Иоганну из богадельни!
Она живет там, поет свой псалом, который пела Расмусу, вспоминает о нем и молит за него Творца — верная душа! Она-то вот и может рассказать тебе о былом, растолковать, о чем шумит ветер в ветвях старой ивы!